

Белый Доминиканец

Воспоминания невидимого

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Господин Икс или господин Игрек написал роман». Как это понимать?

Да очень просто: «Призвав на помощь фантазию, описал людей, которые в действительности не существуют, выдумал разные события, приключившиеся в их жизни, сплел между собой их судьбы». Примерно так судит огромное большинство людей.

Всякий уверен, что знает, что такое фантазия, но лишь немногие, очень немногие догадываются о том, что бывают некоторые весьма странные ее разновидности.

Что бы мы сказали, если бы, например, рука, с виду столь услужливый исполнитель нашей воли, неожиданно отказалась писать имя героя какой-то истории, выдуманное разумеется, а вместо него упрямо выводила бы на бумаге другое имя? Определенно, тут встанешь в тупик и задумаешься: правда ли это я «творю» или... или мое воображение в конечном счете — лишь своего рода магическое приемное устройство? Вроде того, что с изобретением беспроводного телеграфа стало известно под названием антенны.

Случалось, люди поднимались среди ночи и в состоянии сна дописывали сочинение, которое вечером бросили, устав от дневных трудов, не завершив, а после оказывалось, что во сне справились с делом

куда успешнее, чем это было бы им под силу в состоянии бодрствования.

Не умея объяснить подобные вещи, мы любим отделываться фразами: «Подсознание! это оно! Обычно спит, а тут сработало».

Случись такое, например, в Лурде, заявили бы: «Матерь Божия пособила».

Как знать, может быть, подсознание — то же самое, что Матерь Божия...

Не в том смысле, что Матерь Божия — всего лишь наше подсознание, нет, но подсознание — это «матерь»... Матерь Бога.

В этом романе точно живой человек действует некий Кристофер Таубеншлаг. Жил ли он когда на свете, мне не удалось выяснить, но определенно он не является порождением моей фантазии, в этом я уверен. Говорю это открыто, рискуя прослыть искателем легкой славы. Рассказывать в подробностях, как возникла эта книга, нет нужды, достаточно будет вкратце описать, что со мной произошло.

Прошу снисхождения, если поневоле много буду говорить о себе: избежать нескромности, к сожалению, не удастся.

Когда я мысленно уже видел роман со всеми его деталями и начал писать, то вдруг обнаружил, — но позже, перечитывая написанное! — что в него как-то незаметно для меня пробралось это имя, Таубеншлаг.

Мало того — фразы, которые я намеревался перенести на бумагу, прямо под пером изменялись и смысл их становился неузнаваемым, совершенно не таким, какой я в них вкладывал. Началась борьба между мной и невидимым Кристофером Таубеншлагом, и он таки одержал верх!

Я задумал описать маленький городок, который и по сей день жив в моей памяти. А получилась совсем другая картина, и сегодня она видится мне куда ярче, чем настоящий город, который я когда-то знал.

В конце концов ничего другого не осталось — я покорился воле того, кто взял себе имя Кристофера Таубеншлага. Фигурально выражаясь, я дал ему взаймы свою руку и перо, а все, что уже было написано, что появилось в романе как порождение моей собственной фантазии, вымарал.

Предположим следующее: этот Кристофер Таубеншлаг — незримый дух, непостижимым образом он может влиять и даже подчинять своей воле человека, находящегося в здравом уме и трезвой памяти. Если так, то спрашивается, почему он именно моей рукой воспользовался, чтобы написать о своей жизни, отобразить путь своего духовного развития? Из тщеславия? Или чтобы получился «роман»?

Пусть читатель сам ответит на эти вопросы.

Свое мнение я предпочту оставить при себе.

Возможно, случай со мной недолго будет оставаться единичным, возможно, этот Кристофер Таубеншлаг уже завтра завладеет еще чьей-нибудь рукой.

То, что сегодня нас удивляет, назавтра может стать зауряднейшей вещью. Как знать, не возвращается ли к нам старая и вечно новая мудрость:

Любой поступок на земле
Свершается по воле свыше.
«Я сотворил! Я совершил!» —
В речах сих глас гордыни слышен.

Не есть ли этот образ, Кристофер Таубеншлаг, лишь провозвестник, символ, маска некой безобразной силы, искусно притворившейся человеком?

Умникам семи пядей во лбу и сверх всякой меры гордых тем, что они-де сами себе хозяева, наверное, нестерпимо обидно будет узнать, что человек всего-навсего марионетка.

Однажды, уже в разгар работы над романом, я, погрузившись в такие вот размышления, вдруг подумал: а не является ли этот Кристофер Таубеншлаг моим «я», отколовшимся от меня? Неким на время пробудившимся к самостоятельной жизни, безотчетно во мне зародившимся и мною порожденным фантастическим созданием? Говорят, бывает такое с людьми, которые видят призраков и даже ведут с ними беседы!

Словно прочитав мои мысли, невидимый двойник тотчас нарушил ход повествования и — между прочим по-прежнему пользуясь моей рукой! — подпустил в текст неожиданный пассаж, в котором дал ответ:

«А вы (мне показалось насмешкой то, что он обратился в вежливой форме, а не по-свойски на „ты“), вы тоже, как все люди, возомнили себя уникальным и не думаете, что являетесь только лишь отколовшейся частицей „я“? Великого „Я“, которое называют Богом?»

Я нередко раздумывал о смысле этих странных слов, надеясь найти в них ответ на вопрос: как же получилось, что Кристофер Таубеншлаг существует? Однажды, когда я был уже, казалось, близок к разгадке, меня снова сбил с толку «оклик» моего странного знакомца:

«Всякий человек — Таубеншлаг, но не всякий — Кристофер. Христиане в большинстве мнят себя богносами. Вокруг истинного христианина и в нем самом порхают белые голуби».

С тех пор я оставил надежду раскрыть мучившую меня тайну, отбросил и все спекулятивные рассуждения о том, что, в конце концов, если принять древнее учение о многих земных воплощениях, то, как знать, не был ли я сам в некой прежней жизни Кристофером Таубеншлагом?

Более всего меня устроило бы такое убеждение: то неведомое, что направляло мою руку, это самодовлеющая и самодостаточная, избавленная от любой формы и видимости вечная сила. Но иногда, просыпаясь утром после спокойного, не нарушенного видениями сна и еще не открыв глаза, под веками я вижу седого и безбородого старца, высокого и стройного, как юноша, это словно образ забытого сновидения, и весь день потом со мной остается ощущение, от которого я не могу избавиться: наверняка это он, Кристофер Таубеншлаг.

Часто при этом возникала еще одна странная мысль: он витает вне времени и пространства, к нему отойдет по наследству твоя жизнь, когда смерть занесет над тобой свою косу. Но к чему эти рассуждения, неинтересные посторонним?..

Далее публикую свидетельства Кристофера Таубеншлага в той последовательности, в какой я их получал; часто форма их отрывочна, но от себя я ничего к ним не добавил, как ничего и не изъяс.

1

ПЕРВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О СЕБЕ КРИСТОФЕРА ТАУБЕНШЛАГА

Насколько помню, все в нашем городе считали, что мое имя — Таубеншлаг.

В детстве, когда я вечерней порой перебежал от дома к дому и длинным шестом с фитилем на конце зажигал фонари, уличные мальчишки скакали вокруг меня и распевали, дружно хлопая в такт:

До-мик голу-бей, до-мик голу-бей,
Бей, бей, не жалеи!
До-мик голу-бей!

Я на них не обижался; правда, и подпевать не подпевал.

Позднее прозвище подхватили взрослые и, обращаясь за чем-нибудь ко мне, так и называли.

С именем Кристофер совсем другая история. Это имя было написано на клочке бумаги, который висел на моей шее в то самое утро, когда нашли меня, голенького младенца, у врат храма Девы Марии.

По всей видимости, такое имя дала мне моя мать, подкинувшая меня чужим людям.

Оно — единственное, что досталось мне от матери. Поэтому имя Кристофер всегда было для меня священным. Его приняло мое тело, и я сохранил его на всю жизнь, словно крестильную грамоту, выписанную в царстве вечности, словно свидетельство, которого никому у меня не отнять. Подобно ростку, это

имя неуклонно пробивалось на свет и наконец явилось таким, каким было изначально, слилось со мной воедино, стало моим спутником в мире нетленного. По слову Писания: «Сеется в тлении, восстает в нетлении».

Иисус принял крещение, будучи взрослым человеком, ясно сознающим то, что совершалось, и Его имя, являвшее Его «Я», снизошло на землю. Нынче у нас крестят младенцев — где ж им постичь суть происходящего таинства! В жизни они блуждают, влачась к могиле, подобно клубам тумана, и легкий ветер уносит их назад, в болота, откуда они поднялись, плоть их истлеет, а к тому, что нетленно — своему имени, они непричастны. Мне же ведомо — если может смертный сказать, что ему нечто ведомо, — мое имя: Кристофер.

В нашем городе живет предание о том, что храм Девы Марии построил монах-доминиканец Раймунд де Пеннафорте, собрав пожертвования, которые со всех концов земли присылали люди, пожелавшие остаться неизвестными.

Над алтарем храма, говорят, есть надпись: «Flos florum¹ — таковым явлюсь спустя триста лет». Ее закрыли, прибив поверх расписную доску, но из года в год, в один и тот же день, доска, оторвавшись, падает. В праздник Успения Пресвятой Девы.

Рассказывают, что иногда ночью, в новолуние, когда всюду такой мрак, что ни зги не видно, на черную рыночную площадь падает от храма белая тень. И что тень эта — призрак Белого Доминиканца, Раймунда де Пеннафорте.

Когда мы, воспитанники сиротского приюта, достигли возраста двенадцати лет, нас допустили к пер-

¹ Цвет цветов (лат.).

вой исповеди. На другое утро капеллан строго спросил меня:

— Ты почему это не был у исповеди?

— Ваше преподобие, я был!

— Лжешь!

Тут я рассказал, что со мной приключилось:

— Я стоял в церкви, ждал, когда позовут, и вот кто-то меня поманил, и, подойдя к исповедальне, я увидел монаха в белом одеянии; он три раза спросил мое имя. В первый раз я не смог вспомнить, во второй — вспомнил, но не успел сказать, тут же опять забыл, а на третий раз бросило меня в пот, язык перестал слушаться, я будто онемел — и вдруг выкрикнул, только не я сам и не взаправду, а словно кто-то у меня в груди: «Кристофер!» Наверное, тот Белый монах расслышал, потому что он вписал имя в свою книгу и, указав на нее, сказал: «Отныне ты записан в книге жизни». Потом он благословил меня со словами: «Отпускаю тебе все грехи — и содеянные в прошлом, и будущие».

Последние слова я произнес совсем тихо, не желая, чтобы их услышали другие воспитанники, потому что мне, сам не знаю почему, стало страшно, а капеллан отпрянул, будто в ужасе, и перекрестился.

И той же ночью впервые мне случилось неведомым образом покинуть стены приюта и под утро вернуться столь же непонятным мне самому образом.

Вечером я лег спать в ночной рубашке, а утром проснулся одетым и даже в сапогах, покрытых дорожной пылью. В кармане же оказались цветы, что растут в горах: должно быть, я нарвал их где-то на вершинах...

С тех пор мои ночные странствия часто повторялись, пока о них не прознали наставники, а так как я не мог объяснить, куда уходил, меня били.

Однажды мне велели явиться в монастырь к капеллану. Когда я вошел, тот стоял посреди зала и беседовал с пожилым человеком, который, как вскоре выяснилось, решил усыновить меня. Отчего-то я сразу догадался, что разговор у них шел о моих ночных странствиях.

— Твое тело еще не достигло зрелости... Ему нельзя странствовать с тобой вместе. Я тебя привяжу, — сказал мой приемный отец, когда, держа за руку, повел меня к себе домой. При каждом слове он как-то странно задыхался.

Сердце у меня сжалось от страха — я ведь не понимал, о чем он говорил.

На железной входной двери, украшенной большими шляпками гвоздей, я увидел чеканную надпись: «Барон Бартоломей фон Йохер, почетный фонарщик».

«Странно, — подумал я, — такой знатный господин, и почему-то — фонарщик». При виде этой надписи почудилось, будто жалкие, не связанные между собой начатки знаний, которые я получил в приютской школе, осыпались с меня, словно бумажные клочки, — настолько сильно я в тот миг усомнился в своей способности рассуждать здраво.

Со временем я узнал, что скромным фонарщиком был далекий предок барона, положивший начало роду фон Йохеров; он был пожалован дворянским титулом, но за какие заслуги, мне неизвестно и ныне. Посему в родовом гербе фон Йохеров наряду с другими эмблемами есть изображение масляного светильника и руки, сжимающей шест; всем баронам в этом роду из поколения в поколение городские власти назначали небольшое ежегодное содержание независимо от того, исполняли или не исполняли

бароны свою должность, которая состоит в том, чтобы зажигать городские фонари.

Уже на следующий день барон велел мне приступить к службе.

— Приучай руки к делу, которое впоследствии продолжит твой дух, — сказал он. — Как бы ни были скромны труды, они обретут благородство, коли дух однажды сможет их воспринять. Деятельность, которую душа не желает принять в наследство от тела, не стоит того, чтобы ею занимались.

Я смотрел на старого барона во все глаза и молчал, ибо в то время еще не понимал, о чем он говорит.

— Или тебя больше привлекает ремесло торговца? — полюбопытствовал он с добродушной насмешкой.

— А утром гасить фонари надо? — спросил я.

Барон потрепал меня по щеке:

— Конечно! Зачем людям еще какой-то свет, когда светит солнце?

Я заметил, что во время наших бесед барон украдкой поглядывал на меня и в его глазах мелькал невысказанный вопрос: «Теперь-то ты понял?» Но может быть, то была другая мысль: «Меня тревожит — неужели ты догадался, что я имею в виду?»

В такие минуты меня бросало в жар — казалось, тот же голос, что возгласил: «Кристофер!» на моей первой исповеди, принятой Белым Доминиканцем, теперь давал барону ответ, который мне самому не был слышен.

Внешний облик барона портил зоб на шее с левой стороны, такой большой, что все воротники приходилось разрезать до самого плеча.

Ночью сюртук барона, повешенный на спинку кресла, казался мне похожим на обезглавленное тело

и внушал неопиcуемый ужас; одолеть страх удавалось, если я думал о том, какую любовь источал этот человек, мой приемный отец, на все, что его окружало. Несмотря на свою немощь и комичный вид — из-за зоба седая его борода топорщилась веником, — барона отличала поразительная тонкость и нежность, некая детская беспомощность, неспособность кого-то обидеть, и эти черты лишь отчетливей выступали, когда он напускал на себя суровость и строго смотрел через толстые линзы своего старомодного пенсне.

В такие мгновения он напоминал сороку, которая скачет перед тобой, будто норовит напасть, меж тем как ее встревоженный взгляд выдает страх: «Уж не хочешь ли ты поймать меня?»

Принадлежавший баронам дом, где я прожил столько лет, был одним из самых старых в городе. Это было высокое строение: некогда предки моего приемного отца возводили тут этаж за этажом, каждое поколение — свой, и дом рос в вышину, словно его хозяевам хотелось быть поближе к небесам.

Не помню, чтобы барон хоть когда-нибудь спускался в старинные покои с потускневшими серыми окнами, выходившими в проулок; мы с ним жили под самой крышей в непритязательно обставленных комнатах с побеленными стенами.

Где-то растут деревья прямо из земли, люди расхаживают под ними, а у нас все наоборот — у нас есть деревце бузины с белыми благоуханными кистями, которое выросло в большом проржавевшем чане на крыше; раньше чан служил для сбора дождевой воды, которая сбегала из него на землю по трубе, ныне забитой сором и опавшими прелыми листьями.

Внизу катит свои волны, серые от талой ледниковой воды, широкая река, она подступает почти вплот-

ную к стенам старинных домов, розовых, охристо-желтых и голубых, с оконцами, которые глядят из-под низко надвинутых колпаков — позеленевших кровель. Река точно поймала наш город в петлю — он, как остров, охвачен речной излучиной. Река течет на север, поворачивает к западу, обогнув город, затем возвращается на юг, и на узком перешейке, недалеко от моста, стоит наш дом, крайний в ряду; обняв город, река бежит дальше и скрывается за зеленым склоном холма.

По деревянному мосту с высоким, в человеческий рост, частоколом по обоим краям, — грубо отесанные бурые бревна вздрагивают, когда проезжают телеги, запряженные волами, — можно перейти на другой берег, лесистый, с песчаными обрывами над самой водой. Поднявшись на плоскую крышу нашего дома, еще дальше в той стороне видишь луга в туманной дымке, горы, которые словно парят, повиснув над землей, и клубящиеся облака, протянувшиеся белой горной грядой у края земли.

Посреди города возвышается длинное здание вроде старинной крепости; сегодня, впрочем, оно изнывает без дела под палящими лучами, от которых огнем горят безвекие глаза окон.

На мощенной булыжником безлюдной рыночной площади, словно игрушки, брошенные детьми великанов, над грудями пустых корзин торчат зонтики торговцев, а меж камней пробивается трава.

Зато в воскресные дни, когда от каменных стен барочной ратуши пышет жаром, даже у меня наверху бывает слышен духовой оркестр, звуки музыки, подхваченные легким прохладным ветерком, поднимаются над землей, они все громче, и вдруг распахнулись ворота «Почтового трактира Флетцингера» —

чинно шествует к храму свадебная процессия, все гости в старинных ярких нарядах, парни с пестрыми лентами на шляпах несут венки, впереди важно выступают дети, а далеко обогнав всех, ловкий, как ящерка, несмотря на свои костыли, скачет калека, крохотного росточка мальчуган, — он, кажется, едва не спятил от радости, словно весь праздник устроили для него одного; меж тем все прочие шагают степенно, преисполняясь торжественности.

В тот первый вечер в доме барона, когда я уже лег, дверь вдруг открылась и вошел мой приемный отец; на меня опять напал смутный страх — неужели он решил исполнить свою угрозу и сейчас привяжет меня?

Но он сказал:

— Сейчас я научу тебя молиться. Никто ведь не понимает, как надо молиться. Надо молиться не словами, а руками. Молитва словесная — то же попрошайничанье. Попрошайничать нельзя. Твой дух и без слов знает, в чем твоя надоба. Когда человек соединяет свои ладони, левое и правое в нем образуют единую цепь. А это значит — связано тело человека, и из пальцев, обращенных кверху, изойдет пламя. Такова тайна молитвы, о которой не сказано ни в одной книге.

Той ночью я снова странствовал, но впервые проснулся утром не одетым и без покрытых пылью башмаков, как бывало раньше.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛЫЙ ДОМИНИКАНЕЦ

Перевод Г. Снежинской 5

РАССКАЗЫ

Опал. *Перевод И. Стребловой*209

Болонские слезки. *Перевод И. Стребловой*216

Фиолетовая смерть. *Перевод И. Стребловой*224

«Будда — мое прибежище». *Перевод И. Стребловой*234

«В огне страданий мир горит...»

Перевод И. Стребловой240

Царица у загор. *Перевод И. Стребловой*247

Val masabge. *Перевод И. Стребловой*253

Тайна замка Хэтевэй. *Перевод И. Стребловой*263

Доктор Ледерер. *Перевод И. Стребловой*271

Испарившийся мозг. *Перевод И. Стребловой*278

Жаркий солдат. *Перевод И. Стребловой*288

Мозг. *Перевод Г. Снежинской*294

Читракарна, благородный верблюд

Перевод Г. Снежинской301

Черный шар. *Перевод И. Стребловой*310

Мудрость брахманов. *Перевод И. Стребловой*317

Шум в ушах. *Перевод Г. Снежинской*322

Ужас. *Перевод И. Стребловой*324

G. M. *Перевод Г. Снежинской*330

Примечания. *Г. Снежинская*340